

точно эту ситуацию сформулировал И. Анненский: «Преступление есть нечто лежащее вне самого человека, который его совершил. Такова была одна из самых глубоких, наиболее волновавших Достоевского мыслей»; «Достоевский не только всегда разделял человека и его преступление, но он не прочь был даже и противопоставить их». ⁴² Но разве перекладывать вину на теорию и отделять человека от его *теоретического* преступления не то же самое, что «апатически жаловаться на среду» (4, 142) или делать ее ответственной за неблагоприятные поступки? В конце концов, и одна из главных идей Достоевского — *если бога нет, все позволено* — есть выражение предельной, безысходной зависимости человека от обстоятельств его существования (в данном случае обстоятельств высшего порядка, что не меняет дела), это формула того самого неверия в человека, недоверия к нему, которой руководствуется великий инквизитор.

«Нет, брат, ты врешь: „среда“ многое в преступлении значит; это я тебе подтверждаю» (6, 197), — говорит Порфирий Петрович, и участь Раскольникова свидетельствует о правоте этих слов. Здесь все сошлось: непростые материальные и социальные условия, витающие в воздухе соблазнительные идеи и маниакальный тип мышления. Совместными усилиями они произвели на свет безобразную идею, которая и стала главным обстоятельством, стимулом и смыслом раскольниковской жизни. Когда Писарев говорит о том, что «теорию никак нельзя считать причиной преступления, так точно, как галлюцинацию больного невозможно считать за причину болезни», ⁴³ он прав и не прав одновременно. Действительно, как уже говорилось выше и как это хорошо видно на примере Базарова, теория и практика далеко не одно и то же, и для того, чтобы по доброй воле и собственной инициативе обрушить на голову человека топор, никакой теории недостаточно — нужно иметь соответствующие патологические наклонности, которых у Раскольникова нет. Но в том-то и суть уже не раскольниковского, а авторского эксперимента, чтобы «сделать обаятельным, сделать Шиллером, бледным ангелом» убийцу, чтобы протащить «изящно-теоретического героя» «через все эти топоры и подворотни» и испытать — сможет ли *такой, очаровательный мальчик* убить, существуют ли нравственные преграды, которые никогда ни при каких обстоятельствах невозможно переступить, наконец, насколько, до какой степени свободен в своем волеизъявлении человек. Писарев вполне резонно искал в поступках Раскольникова житейское реалистическое обоснование, но он не почувствовал *злонамеренный, фантастический* подтекст, который угадал И. Анненский: «более явной наглости, чем Раскольников, художественная мысль себе у Достоевского никогда не позволяла». ⁴⁴

Если же рассматривать героя Достоевского не как объект авторского экспериментирования, каковым он, вопреки сложившемуся мнению, в не малой степени является, а как суверенную, свободную личность, как полноправного субъекта собственного слова и дела, то следует вменить ему в вину не только рабское подчинение идее и совершенное согласно ей двойное убийство, но и нежелание и неспособность взять на себя всю ответственность за учиненное зло. После преступления он ищет опору и спасение вне теории (на это справедливо обратил внимание Писарев) и вне самого себя, надеется «сложить хоть часть своих мук» (6, 324) на Сою Мармеладову, просит ее «За одним и звал, за одним приходил: не оставь меня. Не оставишь»

⁴² Там же. С. 192, 194.

⁴³ Писарев Д. И. Литературная критика: В 3 т. Т. 3. С. 231.

⁴⁴ Анненский И. Книги отражений. С. 186, 190—191.